

Владимир Алейников

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНТИМИР

...Осень моя незабвенная давнего шестьдесят третьего года, осень привольная, золотая, светом с небес залитая удивительно ясным, праздничным, волшебным, чистым, целебным, когда я впервые долго жил в Москве, совершенно один, без всякой опеки, свободно, расправляя крылья, как птица, залетевшая вдруг в столицу из провинции, с Украины, из далёких скифских степей, стала, само собою, для меня, совсем ещё юного в ту пору, да просто мальчишки, если на то пошло, осень моя далёкая, говорю я сегодня, стала для меня той важнейшей гранью, за которой уже начиналась новая, с изумлением неизменным перед распахнутым слуху и зрению миром, с новизною всех ощущений порою невероятная, всегда, в любую минуту и в миг любой, интересная, и не просто густо заполненная, но даже перенасыщенная на редкость разнообразными, увлекательными событиями, творческая, по природе своей, по сути своей, очень самостоятельная, богемная, инопланетная, фантастическая, но реальная, временами фантазмагоричная, временами, что делать, скитальческая, в одиночестве частом певческая, в слишком бурном общении с кем-нибудь всё равно отдельная, личная, с независимостью всегдашней от всего и от всех, особая, над землёю меня поднимавшая, то и дело из бед восстававшая, но всегда драгоценная жизнь.

Москва для меня стала тогда сплошным стремлением: быть!

И всё же, вот что занятно, вот что сейчас мне кажется загадкой, да и только, странностью, что ли, былой, или это вполне естественно для сочинителя, ещё молодого, и понятно мне лишь теперь, когда сам я, увь, немолод, в юности, крайне редко, так редко, что случаи эти буквально наперечёт, у меня иногда возникало наивное, это уж точно, теперь-то мне это ясно, и давно уже, а тогда искреннее, мальчишеское желание

* Записки постоянного автора нашего журнала и одного из основателей СМОГа поэта Владимира Алейникова о литературных нравах.

познакомиться не со всеми, конечно, с некоторыми людьми, для меня интересными, со столичными знаменитостями.

И однажды я всё же попробовал желание это, брезжущее в сознании, то исчезающее надолго, то возникающее сызнова, неожиданно, врасплох меня застающее, вроде бы и ненужное, ну подумаешь, обойдусь, а может быть, и полезное для меня, поди догадайся, кто его знает, каким оно оказаться может, и что в нём для меня в грядущем таится, на практике осуществить.

Как-то, под настроение «с мелькнувшим: была не была!», как сказал однажды в своём старом стихотворении друг моей криворожской юности, поэт с непростой судьбой, бронзоволицый, кудрявый, коренастый Юра Каминский, в справочном, (вроде домика пряничного, приятного, или вроде добротной будки, что вернее, трудно сказать, да и надо ли говорить), нужного для человечества, жаждущего общения, ищущего друг друга по всему Союзу, бюро, одного из великого множества подобных ему, по столице разбросанных там и сям, а в моём, вспоминаю, случае, расположенного у выхода из метро, какого конкретно, совершенно сейчас не помню, да и надо ли вспоминать, если память моя хранит совсем другие подробности давно минувшего времени, штрихи его, гибкие линии, а то и скопления образов, узнал я домашний адрес поэта Евг. Евтушенко.

Симпатичная с виду тётенька жестом доброй сказочной феи протянула мне, улыбнувшись, похожую на квитанцию серенькую бумажку с этим заветным адресом.

И я, без особых раздумий, поехал прямо туда.

Знаменитый поэт, на звонок мой долгий, открыл мне дверь и встал столбом на пороге, явно не собираясь пускать меня, незнакомца молодого, в квартиру свою.

В ответ на мои слова о том, что я с Украины приехал в Москву, что давно уже мечтаю с ним познакомиться и очень хочу почитать ему стихи свои, Евтушенко, продолжая стоять в двери, вроде стражника, без алебарды, без пищали, зато спортивного, так тогда показалось мне, худощавого и подтянутого, словно прямо сейчас он станет возле дома бегать трусцой, тряхнул своей полудетской, полувзрослой, срезанной наискось, какой-то, приклатнённой, дворовой чёлочкой, отрицательно помахал у порога длинной рукой и довольно

категорично, хорошо поставленным голосом, с интонациями стальными в каждом слове отдельном, изрёк:

– Нет! Собираюсь в дорогу. Уезжаю вскоре на Север.

В прихожей возник человек необычный, крупный, плечистый, лысый, в больших очках, в ковбойке поношенной клетчатой, выглядевший, как в былинах, увальнем-великаном, в движениях всех медлительным, но с немалой силой в тяжёлом теле, со странной взрывчатостью, спрятанной где-то внутри, вдруг сверкнувшей во взгляде его исподлобья, грузно шагнувший вперёд, как шагают в походе, по тропе, с рюкзаком за плечами, упрямо, целенаправленно, в котором, по фотографиям, встречавшимся, иногда, в журналах, узнал я писателя Юрия Казакова.

Он взглянул на меня – и скрылся в глубине просторной квартиры.

Там, в квартире, за приоткрытой стражем-хозяином дверью, висели на стенах яркие, неизвестные мне картины.

Евтушенко снова тряхнул, отрицательно, для понятности, покачнувшейся наискось чёлочкой – и закрыл за собою дверь.

Пообщаться с ним – не удалось.

Тогда я узнал адрес и телефон Рождественского.

Действовал я на сей раз по-другому. Стратегию с тактикой несколько изменил.

Выпил немного, для храбрости.

Взял да и позвонил, напрямую, железному Роберту.

Трубку сняла какая-то приятная, судя по голосу и по тому, что за голосом невольно подразумевалось, воспитанная, московская, интеллигентная дама.

Я поздоровался с нею – и с ходу ей прочитал, не теряя времени, первое в голову мне пришедшее, из многих, мною написанных, нигде никогда не изданных, лежащих бумажными гудами в папках, стихотворение.

– А ещё? – проявив интерес несомненный, спросила дама.

Я прочитал, вслед за первым, и второе стихотворение.

– А ещё послушать мне можно? – с явной тёплой ноткой в голосе низковатом, спросила дама.

Я прочитал, волнуясь, и третье стихотворение.

– Хорошие это стихи, – сказала приветливо дама. – Кто вы такой? Назовитесь. Расскажите мне о себе.

Я назвался тогда – и вкратце, без подробностей всяких ненужных, толково и внятно, доходчиво, как сумел, рассказал о себе.

– Вы, наверно, и сами, Володя, догадались уже, что я, говорящая с вами сейчас и стихи ваши только что слушавшая, не случайная собеседница какая-то, лишь бы только поболтать нам о том, о сём, да стихи послушать, хорошие, что не так уж часто бывает, можете мне поверить, я знаю, что говорю и за свои слова отвечаю всегда, поскольку знаю цену словам, давно, хорошо, я супруга Роберта Ивановича, – сказала дама. И после паузы: – Я понимаю, что вам хочется с ним увидеться. Человек он весьма занятой. Как быть? Придётся подумать! – дама секунду помедлила и продолжила: – Знаете, что? Сегодня я поговорю с мужем. А вы мне завтра, с утра, но не слишком рано, обязательно позвоните. И я сообщу вам, когда может произойти ваша встреча. Договорились? Ну, вот и чудесно. Звоните. А стихи ваши, честно скажу вам, Володя, мне очень понравились. Всего вам самого доброго.

Ну, как на юге сказали бы, это было уже кое-что.

Может, хоть одного, из трёх столичных китов-шестидесятников, скоро своими глазами увижу?

Утром я позвонил.

Приветливая супруга поэта сказала мне, что встретиться с мужем её могу я сегодня же днём, будет ждать он тогда-то и там-то.

И я приехал к Рождественскому.

Дверь открыл он мне самолично.

И в квартиру меня впустил.

Но, однако, не дальше прихожей.

На стене здесь висела графика, было похоже на художника Красаускаса, чьи работы публиковались постоянно в журнале «Юность».

Стоял у стены в прихожей маленький круглый столик, возле него – два стула.

На одном из стульев сидел человек, похожий на жителя за границы советской, Прибалтики.

Поздоровался он со мной с прибалтийским, само собой, литовским, похоже, акцентом.

Рождественский сел на второй, только что пустовавший, а теперь уже занятый стул – и, коротко мне махнув пухлой ручкой с толстыми пальцами, так же коротко бросил мне сквозь резиновые, надутые, толстоватые, сизые губы, заикаясь при этом:

– Ч-ч-читайте!

Сесть меня не пригласили, да и некуда, впрочем, было.

Посему я, стоя в плаще посередине прихожей, начал читать стихи.

Прочитал. Взглянул на Рождественского: какова же его реакция?

Рождественский губы резиновые раздул – и, вновь заикаясь, коротко бросил, голосом робота:

– М-мне н-не н-нравится!

– Ну почему же, Роберт? – сказал с прибалтийским акцентом сидевший за столиком круглым незнакомый мне человек. – Стихи, я считаю, хорошие. Мне интересно было услышать их. Современные. Очень оригинальные.

– Н-нет, м-мне н-не н-нравится! – лязгнуло, а не сказал Рождественский.

Ну, на нет и суда нет.

А гордость – была у меня.

Поэтому взял я сумку свою – и направился к двери.

Попрощался спокойно, из вежливости.

Подождал, покуда железный Роберт, пыхтя и лязгая коленями и локтями, ключицами и суставами, не смазанными, наверное, открывал мне дверь. И ушёл.

Дверь квартиры с раскатистым грохотом вмиг за мной хлопнулась. Эхо раздалось в подъезде. Заглохло. Поднялась над лестницей пыль.

Затряслись, пошатнулись стены. Появилось подобье пены. Или – плазмы. Завыли сирены. Родилась не сказка, но быль.

Что-то в доме гудело. Ныло. Что-то падало, вроде мыла. Кто-то, чтоб ему пусто было, воспевал, небось, коммунизм.

Только щёлкнуло что-то. Лязгнуло. Зашипело. Зарокотало. Забурлило. Железный Роберт, видно, смазывал свой механизм.

И решил я тогда позвонить киту столичному третьему, самому, из троих, талантливому, Вознесенскому.

Промелькнула, конечно, мысль: а вдруг попытка моя успехом не увенчается – и получится нечто подобное, всё возможно ведь, первым двум?

Однако же, по чутью, по наитию, как обычно, да ещё и, чего там скрывать, из упрямства, я позвонил.

Поэт оказался дома.

Я вежливо поздоровался, представился, объяснил, почему я хочу с ним увидеться.

И в ответ услышал неожиданно:

– Хорошо. Приезжайте ко мне. Прямо сейчас. Мой адрес вы, полагаю, знаете?

Я пояснил поэту, что адрес узнал я в справочном бюро, незадолго до нынешнего звонка моего к нему, но не очень-то представляю, как мне туда добраться.

– Найти меня просто, – сказал Вознесенский. – Вы доезжайте на метро до станции Бауманская. Там выход наверх один. Пройдёте немного в сторону Елоховского собора. Мой дом – напротив него. Жду. Поскорей приезжайте.

Надо было ехать. Поэт в гости к себе меня ждёт!

Была у меня тетрадь, в которую клеивал я газетные и журнальные вырезки со стихами, какие уж попадали в поле зрения, Вознесенского.

Книг его, нашумевших так сильно по всему Союзу и даже за границей, у нас в провинции днём с огнём было не достать. «Мозаику» и «Параболу» прочитал я недавно, в Москве, в Ленинской библиотеке, и там же, прямо на месте, не поленился, конечно, переписать в тетрадь свою эти яркие сборники.

В ту пору я очень многое, за неимением пишущей машинки своей, о которой оставалось только мечтать, просто-напросто переписывал, для себя, по привычке давнишней, по традиции, от руки.

Тетрадь эту, пусть и наивное, но стоящее внимания самиздатовское изделие, решил я, поколебавшись сперва, но потом решившись на этот жест, или шаг, или, может, поступок даже, всё равно ведь, как их назвать, как точнее определить, если всё это будет искренне, от души, показать поэту.

Жил я тогда в коммунальной, во всех отношениях приятной, удобной комнате на Автозаводской улице, предоставленной мне дружелюбно, с криворожских ещё времён, настроенными Герасимовыми.

Довольно быстро собравшись, я отправился – дале – в путь.

По дороге я вспоминал, как у нас в Кривом Роге, весной прошлого, шестьдесят второго, Тигриного года, купил я в газетном киоске номер очередного журнала «Знамя», где напечатаны были, к великой радости всех тогдашних читателей, «Тридцать отступлений», ещё и каких, новаторских, дерзких, звонких, полнокровных, исполненных силы богатырской, могло показаться многим людям в стране, из поэмы «Треугольная

груша» – огромная публикация, целая книга, – и открыл журнал, и немедленно, увлечённо, начал читать, стоя под разгулявшимся вовсю весенним дождём, возле сквера, в котором шумел воробьиный громадный базар, совершенно не замечая ни дождя, идущего долго, ни воробьиного гвалта, в своём промокшем насквозь китайском светленьком плащике, покуда не прочитал все стихи, до последней строчки, и потом шёл домой, на Гданцевку, под дождём, слегка ошарашенный всем, только что мною прочитанным, и думал, шестнадцатилетний, о том, как всё это здорово, нет, прямо-таки замечательно, удивительно, превосходно, и нет всему этому равного, пока что, потом – посмотрим, потом ещё поглядим, кто будет писать и получше, увидим всё это, со временем, потом, другими глазами, как Пушкин сказал, духовными, и в этом-то путь, и смысл, и суть поэзии русской, – и прошло с тех пор время, недолгое, и кругозор мой расширился, но то впечатление, первое, так и осталось в памяти.

Дом номер сорок пять, возвышающийся на Нижней Красносельской улице, был действительно расположен в аккурат напротив Елоховского собора – и окнами всех своих этажей смотрел на высокие купола его, парящие в облаках, величественно плывущие в небесах столичных осенних, на просторный двор, отделённый от мирской суеты, от соблазнов суеты этой, столь нежелательной для парения духа, для тихих молений и песнопений, высокой, прочной оградой, за которой видны были низкие, густые постройки дворовые, трапезная, наверное, и что-то с виду хозяйственное, сараи, может быть, всякие, подсобные помещения различные, кладовые, и деревья в ряды, на которых верещали, чирикали птицы, над которыми вверх взмывали и сияли там, в эмпиреях, в горних далях, в глубинах синих, с ослепительным блеском, кресты, – а внизу, между тем, продолжалась абсолютно другая жизнь, с чередой забот повседневных, с магазинными очередями, с разговорами в них о ценах на продукты, с газетными стендами на замызганных тротуарах, с отдалённой угрозой атомной скоротечной войны, с размеренным настоящим и смутным будущим.

(Через пятнадцать лет буду я в этом соборе работать, не кем-нибудь там имеющим отношение к религии, к патриархату, нет, что вы, а просто дворником.

Буду ломом колоть лёд и лопатой сгребать снег, всякий мусор сметать метлой и в совок собирать, а потом куда-то всё

это выбрасывать, и опять размахивать ломом, против которого нет, как любому известно, приёма, и лопатой в снегу шуровать, и метлой всякий мусор сметать, и в совок его собирать, и куда-то всё это выбрасывать, и опять хвататься за лом, лопату, метлу и совок, под командой скверного старосты, мужичка, почти опереточного, с характером отвратительным, привередливого, занудного, работая за гроши, хотя и с кормёжкой в трапезной, вкалывающая во дворе, просторном, хотя и с постройками различными, и на улице, иногда устало поглядывая на окна дома, в котором жил в начале шестидесятых знаменитый поэт Вознесенский.

В сторожке возле собора будет сидеть Кублановский, чирлившийся в сторожах, попить чаёк и винцо, читать запрещённые книги и записывать между делом в тетрадку школьную тоненькую свои, о судьбе России, вполне вероятно, а может быть, о романах с прекрасными дамами, о поездках, на юг и на север, обо всё понемножку, стихи.

Сторож другой, философ Лёва Пасеков, человек смуглый, с глазами горящими, с волосами до узких плеч, худющий до невозможности, скиталец, отшельник, аскет, обитать будет прямо в соборе, в огромнейшем тёплом подвале, и я, изрядно измотанный бездомницами своими, с позволения Лёвы, порою тоже стану там ночевать.

Скитаться по всей Москве, без постоянного крова, без приемлемой для властей, хоть какой-нибудь, но работы, будет уже опасно, и поэтому я, сознательно, чтобы хотя бы на время, ненадолго, пускай, но избавиться от повышенного внимания, ментовского, и другого, пострашнее намного, ко мне, подамся смиренно в работники лома, лопаты, метлы и совка, то есть, попросту, в дворники.

Но всё это, как и прочее, не больно-то, согласитесь, весёлое и распрекрасное, только будет ещё, впереди).

А пока что, в другое время, о котором сейчас говорю я, шла своим чередом столичная, с голубиными сизыми стаями на асфальте, с листвою жёлтою на ветвях деревьев, с троллейбусами, впрямь из песенки оруджавской, с холодком над Москвой-рекою, с ветерком кручёным за Яузой, с небесами, то ясными, синими, то затянутыми пеленою смутноватой, к дождю, наверное, с прорывающимся нежданно, сквозь любые преграды, солнышком, с перезвоном красных трамваев, с огоньками такси зелёными, с разговорами о театре «Современник» в метро и в автобусах, с холстами Сезанна в музее

на Волхонке, с неистовым Врубелем в Третьяковке, с новыми встречами и стихами, славная осень, – и ехал я к Вознесенскому, и легко нашёл нужный мне дом.

Вознесенский предстал предо мною в лучах мировой своей славы.

Моложавый, тридцатилетний, оживлённый, весь на подъёме, на взлёте, в рывке, вперёд, и дальше, ещё вперёд, в движении, круговом, пружинистом, постоянном, привычном, вокруг оси невидимой, чтобы вырваться из круга, взлететь, воспарить над миром, и вновь приземлиться, и вновь устремиться ввысь, к вершинам новым, томящим возможностью покорения, признанием этой победы, пленительным торжеством над косностью быта, строя общественного, над всем ненужным, давно мешающим свободе слова, певучего, живого, полного сил, чистого, родникового, серебряного, звенящего соловьиным цоканьем, трелями, шелестящей летней листвой, снежком иногда холодящего, русского, настоящего, буйным жаром вдруг обдающего ради праздничного грядущего, моложавый, нет, молодой, под счастливой своей звездой, весь удача, восторг, прорыв сквозь гнетущую мглу, прилив крови к сердцу, вискам, глазам, отворивший шутя сезам, приоткрывший в пространство дверь преспокойно и без потерь, распознавший, как в сказке, путь самый верный, ещё чуть-чуть и настанет блаженный час, век беспечный, лесковский сказ, впрочем, вспомнится, хороша очарованная душа, только в чарах спасенья нет от невзгод, принимай, поэт, всё, как есть, берегись химер, сластолюбец, визионер, будь мудрее, ан нет, решит, обойдётся, и жить спешит, моложавый, тридцатилетний, знать, не первый и не последний в череде чародеев, глух к назиданьям, невольник-дух в оболочке хрупкой, парад фраз и образов, маскарад, фейерверк и потешный бой, бег отчаянный за судьбой, шаг беспомощный поперёк, Бог с другими, а вот порог, вот черта роковая, грань, различимая, ну-ка глянть, фаска, лезвие, остриё, что-то чуждое, не своё, как тут быть, на кого пенять, что попробовать предпринять, позже, некогда, всё равно, век торопит, стучась в окно, что-то надо ещё урвать, скоро некого будет звать, чтобы вместе звончее петь, что-то надо ещё успеть, ритмы, скорость, лишь свист в ушах, торопыга, и дело швах, и не думать об этом грех, но по-новой грядёт успех, ахи, охи, стихи, скорей, не за тридцать ли

морей, не куда-то ли в никуда, самолёты да поезда, заповедные адреса, небо, взлётная полоса, остановленные часы, голос, брошенный на весы глухо звякнувшим пятакom, жребий вынутый, в горле ком, в зазеркалье случайный взгляд, рай недолгий, кромешный ад впереди, в подмосковном сне, в каждой ночи и в каждом дне, вспоминать ли о прошлом, нет, впереди невозможный свет, позади круговой маршрут, незаметно свёрнутый в жгут, но до этого ли сейчас, если весь он как весть для вас о невиданных чудесах, ветер, облако в небесах, воздух утренний, лунный вздох двух столетий и двух эпох, мост меж разных двух берегов, перешёл да и был таков, рудоносный глубинный пласт, и в обиду себя не даст, и простит, и, небось, поймёт, и своё на авось возьмёт всё равно, так спиши слова и прими его, хоть сперва, поначалу, таким, каков был: сияние двух зрачков, двух призваний слиянье в них, двух кровей, двух дорог земных, двух людей, двух идей, двух драм, – впрочем, пусть разберётся сам.

Вознесенский, Андрей Андреевич, моложавый, тридцатилетний, весь в движении, оживлённый, с регулярно, не в лоб, но вскользь, исподволь, ненавязчиво, но уже для него привычно подчёркиваемым незримой, но явственной, чёткой линией осознанием своего собственного значения не только для русской поэзии, но и для мировой, весь, с головы до ног, в заграничном, сплошь супермодном, – разлетающийся пиджак, однобортный, с разрезом, в клеточку, брючки со стреловидной складкой, светленькая рубашка, небрежно, умело повязанный, артистичный, узорчатый шарфик на шее с тугим кадыком, заправленный под рубашку, диковинной розой глядящий наружу из-под расстёгнутого слегка, свободного ворота, – подстриженный аккуратно, худой, расправляющий плечи, то вдвигающий в них, глубоко, то высоко выдвигающий из них и шею, и голову, всю, ритмично, одновременно, подвижный, отчасти утрирующий лёгкость движений, стремительность их, с повадками баловня судьбы, с несомненным отсветом явно и не случайно нравящегося ему такого счастливого, светлого моцартианства во всём, что связано с ним, – он встретил меня, молодого незнакомца, очень приветливо, на удивление просто, без всяческого кривляния, ломания, так мне казалось.

Он пригласил меня в свою пустоватую комнату.

В ней царил, уж это понятно, артистический беспорядок.

Вещи и книги стояли и лежали во всех углах, на полу, на столе, вперемешку.

Бросились тут же в глаза наклейки на чемоданах, ненашенские, заграничные.

На подоконнике грудой лежали, чернея чёткой машинописью, листы хорошей белой бумаги.

Я взглянул: ну конечно же, новые стихи его! Что за стихи?

На стене, на виду, висела роскошная, словно из детства моего, каляка-маляка, узнаваемая мгновенно, нарисованная Шагалом, форматом в ватманский лист.

На каляке-маляке роились какие-то пятна, знаки, загогулины всякие, линии, то пунктиром, то чётче, штрихи, возникали смутные образы, еле брезжило что-то щемящее, лирическое, сокровенное, и внизу была подпись размашистая, от щедрот маэстро, наверное, аршинными яркими буквами, как на вывеске где-то в провинции, но латиницей, крупно: Шагал.

Сигареты были – ненашенские, заграничные, непривычные для меня, возможно – отличные, кто их знает, и кто их пробовал покурить хоть однажды? – в продаже таких в провинции не было, не было и в столице, – а здесь они запросто – «Мальборо».

В вазах лежали крупные оранжевые апельсины, большие жёлто-зелёные виноградные спелые гроздья.

В общем, из жизни артиста.

Обиталище яркой звезды.

– Водки хотите? – спросил меня, ни с того, ни с сего, Вознесенский.

Я решительно отказался.

Он налил себе водки, выпил.

Закусил, отщипнув их с грозди, несколькими виноградинами. Закурил сигарету «Мальборо».

– Это мне Шагал подарил. Я был у него, в Париже! – сказал Вознесенский, увидев, что я с интересом разглядываю большую каляку-маляку.

– Новая книга? – спросил я, показывая на грудку лежащих на подоконнике плотных, белых листов с машинописью, отчётливой, такой, где каждая буква была ну прямо игрушечкой, явно профессиональной.

– Да! – небрежно сказал Вознесенский. – Скоро в «Знамени» напечатают.

«Что-то, как я погляжу, и не пахнет здесь никакой, примитивной даже, гонимостью!» – подумал я, молодой, но успевший

уже пострадать, с проработкой, властями устроенной местными, с обличениями в республиканской прессе, за стихи свои, и тогда, и доселе, так и не изданные, на Украине, в период хрущёвской борьбы с формализмом.

(В своих мемуарах, изданных томом одним, представляющих собою гремучую смесь из прежних его писаний, лихо перетасованных, дополненных иногда всякими любопытными, с матерщиной порою, подробностями, Вознесенский всем сообщает, что как раз в это время, в период хрущёвской борьбы с формализмом, лысый, всесильный глава коммунистической партии и отечественного, советского, состоявшего сплошь из монстров и чиновников ушлых, правительства разнёс его в пух и прах, и был знаменитый поэт удручён, совершенно затравлен, регулярно впадал в отчаяние и даже всерьёз подумывал о том, чтобы взять да свести счёты с жизнью, чего, мол, там, пожил, и хватит, гори всё синим, как говорится, пламенем, для чего наивно пытался раздобыть у поэта Межирова, бывшего фронтовика, имевшийся у того пистолет, но Межиров быстро сообразил, что тут что-то не так, и от выдачи своему молодому собрату по перу боевого оружия, так вот запросто, в наших-то, тех ещё, бывших советских условиях, находившегося у него дома, всегда под рукой, он, человек бывалый, уклонился от псевдопомощи стареющему поэту, не стал рисковать, посоветовал приобрести ствол в Грузии, где за хорошие деньги, как всем известно, всё можно было достать, – и вынужден был поэт Вознесенский, Андрей Андреевич, остаться вовсе не с носом, это лишнее, но без оружия, при своих тогдашних страданиях и своих, как всегда, интересах.

Страдания эти были, как я погляжу, читатель мой возможный, просто ужасными: готовилась очередная огромная публикация в «Знамени», со стихами новыми о загранице и с «Лонжюмо», поэмой о Ленине, продолжающей традиции маяковские, в издательстве «Молодая гвардия» тоже готовилась к печати новая книга стихов, по тем временам внушительная по объёму, с большим тиражом. И так далее.

Так что страдания вроде бы гонимого и затравленного властями, такими-сякими, нехорошими, право слово, популярнейшего поэта самым естественным образом переходили в его интересы, которые вскоре, в свою очередь, неизменно, как всегда, воплощались в дела.

Словом, «под распарившимся Парижем Ленин режется в городки», «а рядом лежит в облаках алебастровых планета – как Ленин, мудра и лобаста», «если спросят: "Какого стиля?" – "Школы Ленина", – говорим», «шарф мой, Париж мой», «пел Твардовский в ночной Флоренции», «я занят, я его прерву: в девять тридцать – интервью», «продай меня, Марше Опюс», «я в Шушенском. В лесу слоняюсь...»

И всё было, в общем-то, в норме.

Или, как говорят, на мази.

Какие, право, счастливые люди – эти гонимые и неведомо кем затравленные, до мозга костей советские, несмотря на всю авангардность их, узаконенную властями, неизвестно зачем страдающие, не от сладкой ли жизни, поэты!

Чем круче гонимость, тем больше изданий. Сплошные удачи! Везуха, и только. Фарт.

Нет, возможный читатель мой, не напрасно кое-кому говорил с значением прошедший такую школу гонимости («школу Ленина», вероятно, по Вознесенскому!), что и врагу заядлому такого не пожелаешь, Толя Зверев, художник: «Старик, тебя никогда не били!»

Но, как пел по гитару свою тихострунную Окуджава, – «Ах, это, братцы, о другом!»)

Вознесенский меня расспросил, кто я, откуда приехал.

Очень коротко я тогда рассказал ему о себе.

– Есть у вас однофамилец, – сказал Вознесенский, щурясь на свет из окна. – Николай Олейников. Замечательный поэт. Вы такого знаете?

Я сказал:

– Нет, ещё не знаю. Но в ближайшее самое время постараюсь его узнать.

Основания так говорить у меня, разумеется, были.

Я как раз собирался приехать, созвонившись с ним, к Диме Борисову, чтобы там, у него в квартире, где хранились целые горы самиздатовских перепечаток, прочитать повнимательней всех обэриутов, оптом.

Хармса я уже знал.

Заболоцкого тоже знал, причём хорошо, выделяя его из всех остальных, потому что был он не просто обэриут, литератор авангардный и эпатажный, но великий русский поэт.

Оставались как раз Олейников и Введенский, отдельные строчки сочинений которого я помнил уже наизусть.

А уже прочитанных мною не мешало бы вновь почитать.

Я сказал:

– Николай Олейников пишется с буквы «О»

– А вы? – спросил Вознесенский.

Я ответил:

– А я – с буквы «А».

– Почитайте стихи! – сказал, посмотрев на каляку-маляку, а потом на меня, Вознесенский.

Он зачем-то прилёг на тахту.

Приготовился слушать, в лежачем положении. Прихоть артиста, не иначе! Капризы звезды.

Модные брючки его слегка задрались. Наружу выглянули шикарные носки заграничные, пёстренькие, длинные, будто гольфы, почти до колен, на резиночке.

И, устроившись поудобнее на тахте, Вознесенский снова, дружелюбно вполне, сказал:

– Почитайте стихи, Володя!

Я прочитал ему несколько тогдашних стихотворений.

– Хорошо! – сказал мне поэт. – Интересно. Вот только вы рифмуете «девочки – деревце». Это уже не модно.

Я, из вежливости, промолчал.

– Да, – сказал Вознесенский, отщипывая виноградины и отправляя их, одну за другою, в рот, а потом их жуя и глотая с удовольствием, – самое главное в искусстве – это всегда быть, Володя, самим собой. Вот, например, как Асеев. «Тулумбасы, бей, бей! Запороги, гей, гей!» И сразу видно, что это именно он написал. Или как Николай Олейников, ваш, Володя, ещё не прочитанный вами, однофамилец. «Маленькая рыбка, жареный карась, где ж твоя улыбка, что была вчерась?» Или как Заболоцкий. Помните? «Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья». Или это его, из «Столбцов». Наверное, тоже помните? «Сидит извозчик как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит, монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе». Я дружил с Пастернаком, со школьных лет своих. Часто бывал у него. После школы учился в институте Архитектурном. Пошёл туда специально, чтобы моя профессия будущая не имела отношения к литературе. И вот однажды принёс я Пастернаку стихи свои новые. Он прочитал их внимательно и сказал мне, что рад бы и сам написать такие стихи, что мог бы включить их в свой

сборник. Знаете, есть у него, в поздних его стихах: как из картины в картину, вхожу, или перехожу, как на выставке, помните сами эту вещь, наверно, картин... И у меня было что-то в этом роде. И понял я, что так мне писать нельзя. На время бросил поэзию. Занимался немного живописью. Занимался архитектурой. Позже пошли стихи, я понял, уже мои. Принёс их тогда Пастернаку. Борис Леонидович был так рад, что я состоялся. Радовался, когда я стал наконец печататься. Поздравлял меня, от души. Да, важно, чтобы в стихах всё было своё, всегда. Мои друзья, Евтушенко, Рождественский, Окуджава, – поэты давно состоявшиеся и все со своим лицом. Лучший поэт, конечно, из нынешних, Ахмадулина.

– Я принёс с собой самодельную книгу ваших стихов, которую составляю уже давно, и хочу вам её показать, – сказал я, после недолгого размышления, Вознесенскому.

Поэт сказал:

– Интересно! Покажите. Хочу посмотреть.

Достал я из сумки тетрадь с наклеенными на каждой странице, довольно густо, вырезками из журналов и газет, в изрядном количестве, а также и с переписанными от руки отдельными текстами и даже целыми сборниками, протянул её Вознесенскому.

Он полистал тетрадь.

Видно было, что он польщён.

Похоже, даже растрогался.

– А что же, на Украине нельзя достать мои книги? – спросил он меня с любопытством. – «Треугольную грушу» мою разве нельзя купить?

Я ответил ему:

– Невозможно!

Так оно ведь и было, на деле.

Ну хоть расшибись, эту книгу невозможно было достать.

– Я вам сейчас подарю! – сказал Вознесенский, встав с тахты и шагнув куда-то к журнальным и книжным грудам.

В этих грудах он отыскал продолговатую книжечку с выразительной, очень броской, бело-красно-чёрной, отчасти под Малевича, авангардной, супрематистской обложкой.

Взял со стола заграничную, не перьевую, а шариковую ручку. Непринуждённо повертел её в гибких пальцах.

Раскрыл уверенным жестом свою «Треугольную грушу».

И на титульном белом листе размашисто написал:

«Володе Олейникову с сердечными пожеланиями стать Олейниковым. Андрей Вознесенский. Москва, XX век.»

Надпись эту вначале я толком не разглядел.

Поблагодарил его – и положил подаренную книгу в свою сумку.

А когда, уже позже, увидел, что написать умудрился Вознесенский в моей фамилии вместо «А» досадное «О», то вспил и мгновенно подумал: ну, уж нет! Никаким Олейниковым стать я не собираюсь.

Я – Алейников. Ясно? Запомните это твёрдо. Я сам по себе. Алейниковым я был, есть и всегда останусь.

Но это было уже на обратной дороге, когда возвращался я на Автозаводскую.

А пока что поэт знаменитый, Вознесенский, меня, человека молодого совсем, хоть и пишущего давно и всерьёз, приветивший и книгой своей одаривший, то расспрашивал, с интересом, не наигранным вовсе, о чём-нибудь, и я ему что-то рассказывал, а он виноград отщипывал от грозди, пожёвывал ягоды, закуривал изредка «Мальборо», сквозь дымок ароматный щурился, улыбался, как сфинкс, и слушал, то сам что-нибудь, из своей биографии, снова рассказывал – и я внимательно слушал.

Зазвонил, соловьём заливаясь механическим, телефон. Вознесенский привычным движением человека двадцатого века, имеющим дело с техникой современной давно и всюду, где бы ни был он, поднял трубку:

– Да, да! Хорошо. Скоро буду.

Весь в моцартианстве этаким, в порыве, почти в полёте, он положил небрежно телефонную трубку, так, словно волшебную флейту в сторону отложил, только что, с удовольствием, что-то сыграв на ней новое, самое свежее, и обернулся ко мне.

– Сякин звонил! – сказал он мне так, будто я хорошо себе представлял, кто такой этот Сякин.

(Позже я понял, что это редактор, весьма известный, передовой, издательства «Молодая гвардия», где готовилась новая книга Вознесенского. А в период моей работы редактором в издательстве «Современник», о чём до сих пор вспоминаю с ужасом и содроганием, я с ним и познакомился. Он приходил туда. Вроде бы там подрабатывал. Очень гордился тем, что это именно он издал в своё время книгу прозябавшего в нищете глухой Леонида Мартынова, чем спас его от забвения

и вызвал к его стихам интерес, вначале читательский, а вслед за ним и издательский, остальное же всем известно. И, конечно же, тем, что он, после хрущёвской ругани, вопреки всем проискам ярых и матёрых гонителей нового в нашей литературе, издал ещё и Вознесенского).

– Надо ехать! – сказал Вознесенский. – Подвезти вас куда-нибудь? Хотите? Я – на такси.

Мы вышли с поэтом из дому на осеннюю шумную улицу.

Напротив собора Елоховского, на фоне всех куполов его, и крестов, и ограды высокой, и двора просторного, с разными хозяйственными постройками и деревьями, по ветру плещущими золотящейся лёгкой листвой, Вознесенский, взмахнув рукой, словно решив почитать всей округе, всему вообще миру, стихи свои новые, быстро поймал такси.

Забрались в машину, поехали.

– Вам куда? – спросил Вознесенский.

Я ответил:

– Я выйду в центре.

Вознесенский сказал:

– Пожалуйста!

И тут я, не удержавшись, достал из сумки своей и показал поэту напечатанные в Кривом Роге, в пятидесяти экземплярах, на ротапринте, пародии приятеля моего, Славы Уриха, человека из нашей компании тамошней, на «Треугольную грушу».

Вознесенский без энтузиазма, как-то вскользь, полистал страницы.

Ничего не сказал. Кривовато улыбнулся. Вернул мне пародии.

Подъезжали мы к центру столицы.

Вознесенский взглянул на меня.

Подобрил. Расплылся в улыбке.

– Звоните мне. Приезжайте, – сказал он. – Пишите стихи. Мне интересно то, что вы делаете в поэзии.

– Буду писать стихи, – сказал я. – А если снова окажусь в Москве и застану вас дома, то, может быть, ещё и приеду к вам.

– Вот и чудесно, Володя! Буду ждать! – сказал Вознесенский.

В центре я попрощался с ним и выбрался из такси на усыпанный жёлтыми листьями, темнеющий влажным асфальтом, выщербленный тротуар.

А знаменитый поэт, глядя на мир сквозь тусклое боковое стекло машины и улыбаясь осени, дальше поехал. К Сякину.

Ничего, ничего, думал я про себя, широко вышагивая по Тверскому, очень московскому и с традициями, бульвару.

Я ещё напишу, вот увидите.

Скоро я напишу такое, что все, как у нас говорят на юге, ещё почешутся.

Я свои силы знаю.

И это, ребятки, будет.

Неприменно. И очень скоро.

И я написал своё новое. Настоящее. В октябре.

(Тут придётся сказать, что, привыкнув, ещё с юности, мыслить книгами, в сентябре я пошёл на какой-то ненужный мне эксперимент и попробовал, мол, чего там, вдруг получится интересно, из отдельных стихотворений, связанных меж собою лишь временем написания, сложить, составить, смонтировать некую, любопытную всё же, так я считаю, несмотря ни на что, поэму, которую, с должным вызовом и с разумеемым пафосом, назвал я «Который час?»

Вещь получилась громоздкая, здоровенная, строк восемьсот, не меньше, если не больше.

Когда, завершив труды свои по выстраиванию поэмы, показал я её однажды человеку весьма разумному, поэту, прозаику, другу моему, Володе Брагинскому, он, внешне очень похожий на апостола Павла, или же на Петра, не помню точнее, так Дима Борисов считал, посмотрел на меня задумчиво и сказал, что стихи, если взять по отдельности каждую вещь и осмыслить её, хорошие, и они ему искренне нравятся, но вряд ли это поэма, скорее просто удачный, небольшой, для него интересный, достаточно выразительный, сборник стихотворений.

По причине упрямства всегдашнего своего, с детских лет, фамильного, но с довеском немалым личного, я, пока что, во всяком случае, считал моё сочинение свежескроенное – поэмой.

Мне предложили знакомые почитать её, без промедления, в каком-то литобъединении, кажется, при издательстве «Московский рабочий», всех этих сборищ никак не упомнишь.

Почитать, да не просто так, прочитал, мол, и будьте здоровы, я своё уже отработал, как хотите, так и считайте,

принимайте, не принимайте, это ваше, ребята, дело, вот и всё, я пошёл домой, но, как водится, – с обсуждением.

Часть этой странной поэмы, с моей, на больших листах переписанной тщательно рукописи, даже перепечатали издательские машинистки.

Поскольку до дня, на который назначено было чтение, времени для работы было у них в обрез, перепечатать весь текст, многострочный, многостраничный, сложный, они не успели.

И настал этот, слишком уж памятный, день моего чтения.

Читал я тогда по-своему, выразительно, увлечённо.

Публика, вот что вскоре заметил я, реагировала на отдельные лишь куски поэмы, именно так, как и следует воспринимать отдельные, обособленные, интересные стихотворения.

Целого же – моей смонтированной поэмы – совершенно не воспринимала.

Я был в восторге. Не на публику, разумеется. На себя.

Это был хороший урок.

Вот тогда и задумался я, впервые, всерьёз, как мне быть, как мне писать свои книги.

И понял: книги мои – пишут себя сами).

Новая вещь моя называлась коротко – «Врубель».

Считалась она – поэмой.

Но, конечно, была это – книга.

Вначале я прочитал её моим, первейшим, в ту пору, друзьям, образованным, умным, талантливым, – Диме Борисову и Володе Брагинскому. Их мнением, их отношением к моим тогдашним стихам я особенно дорожил.

Они сказали мне: да, это именно то. Твоё. Новое.

И я, окрылённый их пониманием и поддержкой, стал читать свою новую вещь и другим, в тех местах, где хотели услышать её поскорее, а хотели её услышать, поскорее, в любое время, должен прямо сказать, везде.

Молва о ней разнеслась по всей столице мгновенно.

Все пишущие знакомые из круга университетского радовались за меня.

Строгая, как учительница, и требовательная к текстам тогдашних своих друзей и приятелей, Зина Новлянская, русалка с медными, длинными, ниже плеч, волной, волосами и колдовскими, зелёными, с чернотой зрачков таинственной, с характерным разрезом, двумя полумесяцами, глазами, поэтесса, звезда филфака МГУ, написавшая чудную, знаменитую

в давнее время, кажется, так и не изданную до сих пор, небольшую поэму «Листопад», говорила мне добрые слова о моей победе и, отчасти ревниво, всё-таки выражала свою приязнь.

Аркаша Пахомов был попросту ошарашен.

Коля Мишин меня цитировал на каждом столичном углу.

А Саша Морозов, поэт филфаковский, выпускавший огромную стенгазету, со стихами, и даже с поэмами, сочинёнными вдохновенными, что вполне понятно, студентами, комсомольский восторженный деятель, после чтения моего в «Бригантине» университетской, филфаковском литературном популярном объединении, встал и при всех заявил, что он, Морозов, отныне прекращает писать стихи, поскольку Владимир Алейников и так всё в грядущем напишет.

Он оказался прав.

Словом, как говорят, наверное, литературоведы, семи пядей во лбу, премудрые граждане, палец им в рот не клади, откусят не глядя, разжуют и мгновенно выплюнут, и ходи потом изувеченным, им-то что, ведь и в ус не дуют, и глазом хоть раз не моргнут, учёные люди, серьёзные, особая, видимо, каста, вполне вероятно, избранные, отмеченные заранее, уж не свыше ли, кто его знает, кто его разберёт, не известно никому, началась моя новая творческая пора.

Писал я, помимо «Врубеля», и другие стихи, необычные по пластике и по ритмике, по той моей полифонии, которая непрерывно улучшалась и разрасталась.

Работал я очень много. Постоянно. С полнейшей отдачей.

Ни единой строчки из этих многочисленных сочинений доселе никто не издал.

Если собрать сейчас уцелевшие чудом тексты или по памяти мною восстановленные позднее – из всей этой массы писаний, потерявшихся, уничтожавшихся, расхищавшихся, пропадавших в годы моих бездомниц, находящихся вдруг, частями, в непредвиденных самых местах, в которой, помимо поэзии, было немало и прозы, – то, думаю, это займёт не менее трёх томов.

Я вернулся к себе на родину – и там, в ноябре, в декабре, писал свои новые вещи.

Из них сложилась одна книга, другая книга, третья книга, четвёртая книга... Все – в единственном экземпляре. Только изредка – в двух или в трёх.

Рукописи мои. Работа моя сокровенная. Работа самоотверженная. Где эти книги, где?

Стихи мои. Проза моя. Времена мои незабвенные. Одиночество. Творчество. Жречество. Речь моя. При свече и звезде.

В январе шестьдесят четвёртого вновь я приехал в Москву.
Будто на волю вырвался.

Мечтал друзей повидать.

Побродить хотел по столице.

Показать кое-что из написанного.

Кому? Ну конечно, друзьям.

Жил какое-то время, недолго совсем, у Димы Борисова, потом оказался, неожиданно, так вышло, на Автозаводской.

Съездил, как и наметил себе, во Владимир, в Суздаль.

Побывал на Нерли, у храма Покрова. Шёл к нему сквозь снег.

Купленную во владимирском Успенском соборе икону Владимирской Божьей Матери с тех пор всегда, где бы ни был я, вожу неизменно с собой.

Вот и сейчас она – рядом.

Расскажу о январской Москве шестьдесят четвёртого года.

О небесном – и о земном.

Новую книгу стихов своих, переписанную от руки, поскольку машинки не было у меня, я отвёз Вознесенскому.

Позвонил ему с Автозаводской:

– Прочитали книгу мою?

– Володя, вы очень талантливы! – сказал мне тогда Вознесенский, взволнованно, очень серьёзно, и я это вмиг почувствовал. – Очень сильная книга, поверьте мне. Очень ваша. Лучшая вещь, конечно, так я считаю, на мой, особенный, вкус, «Виноградная баллада». Но и другие вещи тоже отличные. Вы очень, очень талантливы. Приходите ко мне в любое время, когда захотите, всегда. Я буду вам рад.

Приятно, тем более в молодости, согласитесь, такое слышать.

Но я почему-то, сразу же после этого разговора, как всегда у меня бывает, по наитию, по чутью, отчётливо понял: показывать стихи свои, хоть когда-нибудь, Вознесенскому – больше не надо.

В этом нет никакого смысла.

У меня – свой собственный путь.

И на этом пути важна для меня – моя независимость.

Видеться с Вознесенским, изредка, можно, пожалуй.

Но стихи ему приносить – нет, никогда нельзя.

Всё. Пообщался. Выслушал мнение о стихах.

И – хватит. Довольно. Баста.

Я чувствовал, что нахожусь в преддверии более сильного, необычного, удивительного творческого периода.

Прежнюю грань – в поэзии – я уже перешагнул.

Впереди была – новая грань.

И я, чуя свет, готовился рывком её – преодолеть.

Своими соображениями поделился я с Димой Борисовым.

– Ты правильно поступаешь! – сказал мне твёрдо Борисов.

Однажды, всё в том же снежном январе шестьдесят четвёртого, сидели мы с Димой Борисовым у меня на Автозаводской и не знали, куда податься.

– Позвони Вознесенскому! – в шутку сказал мне Дима Борисов. – Если где-нибудь он читает сегодня, так пусть пригласит нас. Мы сходим. Стихи послушаем.

И я ему позвонил:

– Андрей Андреевич, здравствуйте! Это Володя Алейников.

– Да, Володя. Рад слышать вас! – ответил мне Вознесенский.

– Вы сегодня читаете где-нибудь? – спросил я тогда поэта.

– Читаю, – сказал Вознесенский. – Во дворце культуры одном. Но только это не мой собственный творческий вечер. Это просто сборный концерт. И читать я буду немного. А что, вы хотите послушать?

Я сказал:

– Да, хочу послушать.

Вознесенский сказал:

– Пожалуйста! Договорюсь – и сделаю пропуск. Вам на одного? Или, может быть, на двоих?

Я сказал ему:

– На двоих. Я приду со своим другом.

– Хорошо, – сказал Вознесенский. – Пропуск будет у администратора. Назовётесь, и он вам его прямо на месте отдаст. Приходите. Я буду рад.

Я сказал:

– Спасибо. Придём.

Дима слушал наш разговор, курил и спокойно помалкивал.

Я сказал Борисову:

– Дима, всё в порядке. Договорились. Вознесенский оставит нам пропуск на концерт, у администратора, пропуск на два лица. Борисов слегка оживился:

– Вот видишь, как всё удачно складывается. Давай сходим туда. Вечерок на людях скоротаем. И Вознесенского, – тут Димины губы скривились иронично, – хоть я его и не жалею, всё же слушаем.

До вечера ждать оставалось недолго. И он пришёл, со всеми своими огнями. И мы собрались и отправились вдвоём на грядущий концерт.

Приехали мы с Борисовым в нужный дворец культуры. Получили у администратора, солидной накрашенной дамы с высокой, как башня, причёской, пропуск, на два лица, причём она, выдавая нам пропуск, весьма уважительно, со значением, из-под ресниц блеснув глазами, сказала:

– Андрей Андреевич лично просил меня, чтобы всё без осложнений было, чтобы вы, товарищ Алейников, – вы поэт, да? – ой, как я люблю поэтов, у нас они часто и охотно всегда выступают! – на вечере поприсутствовали обязательно. Милости просим!

Я сказал ей:

– Спасибо вам! Я вниманием вашим тронут.

– Мерси, мадам! – поддержал меня, учтиво, слегка наигранно, галантно и непринуждённо, смешав это всё воедино и сдобрив ещё и особенным, характерным борисовским юмором, для которого иногда не нужны были вовсе слова, но достаточно было взгляда на кого-то, из-под очков, или жеста, или поджатых и уже готовых к улыбке пухлых, чётко очерченных губ с темноватым пушком над ними, чтобы юмор этот почувствовать моментально, Дима Борисов.

– А друг ваш тоже поэт? – спросила меня накрашенная, солидная администраторша, поправляя свою причёску.

Я ответил как можно солиднее:

– Историк литературы!

– Ой, как интересно! – воскликнула солидная администраторша. – Ну, прошу вас, прошу, товарищи, проходите же, проходите.

Сняв свои пальто в раздевалке, мы прошли в переполненный зал.

Шёл сборный концерт. Сборный.

По чьей-то задумке вздорной.

Не то, чтоб хреновый. Спорный.

Обычный. И непритворный.

Всякой твари здесь было по паре.

Все – как будто в каком-то угаре.

Или, может, виденья в кошмаре?

Каждый был как довесок – при даре.

Театральные и цирковые артисты. Одни – с монологами и со сценами из спектаклей. Другие – с кульбитами, сальто и прочими номерами.

Актёры кино. Узнаваемые. Ба, знакомые лица! С экрана – прямо на сцену. Со сцены – вновь на экран.

Иллюзионист. Весьма таинственный. Как? Откуда? Зал – в ожиданье чуда. Ведь на дворе – зима.

Журналисты. Со свежими самыми новостями – со всей планеты. Некоторые, шустрые, – на часок, из другой галактики.

Один профессор. В очках. С бородкой. С большим портфелем. Из института. Или – из «Карнавальной ночи».

Танцевальный, бурно топочущий, разноритменный коллектив.

Детский хор. Пионерские галстуки. Взгляды в зал. Приоткрытые рты.

Нарядный ансамбль народной, задушевно звучащей музыки.

Эстрадный ансамбль. С барабанами, трубами, саксофоном.

Трио лихих, в лаптях, в поддёвочках, балалаечников.

Гитарист. Семиструнной подруги энтузиаст, со стажем.

Гармонист-виртуоз. Всерьёз наяривал. Инструмент свой рвал, как душу. Бывали моменты – заводил, доводил до слёз.

Художественная, вполне в духе былой эпохи, самодеятельность дворца всеобщей советской культуры.

Многие выступали в тот вечер на этой сцене.

Отработав свой номер весёлый, эпизод из фильма, народом любимого, «Друг мой, Колька», бегал по коридору с удочками и пустым гремящим ведёрком в руках, корча всем без разбору, подряд, уморительнейшие рожи, прирождённый комик, актёр популярный, Савелий Крамаров.

Наконец, часа через два, объявили и Вознесенского.

Всемирно известный поэт вышел на сцену стремительно.

Подбоченился. Голову с ходу из плеч своих выставил, целясь вперёд и наискось, в зал.

Она, голова его, выдвинулась, как перископ на подводной, всплывать собравшейся, лодке.

Крепко, по-молодецки, для надёжности, упираясь в поверхность дощатую сцены сразу двумя широко расставленными ногами, стоя у всех на виду, в своём заграничном, свободном, клетчатом пиджаке, в пёстром, фигой завязанном шарфике, из-под ворота полураспахнутого рубашки светлой, на шее, поэт призывно взмахнул правой рукой и начал читать свои знаменитые, сросшиеся с успехом неизменным, «Сибирские бани»:

– Бани! Бани! Двери – хл-л-лоп! Ба-а-бы пр-рыгают в сугроб! Прямо с пылу, прямо с жару! Н-ну и ну! Слабовато Ренуару до таких сибирских ню!..

Ну и аплодисменты же он в тот вечер сорвал!

Народ был – очень доволен.

Бабы! Пахло клубничкой.

Наши бабы. Ядрёные Крепкие.

Сибирские. Кровь с молоком.

Не то что какая-то хлипкая ренуарья порода бабская! Нашенское, отечественное – самое лучшее, факт.

Наша баба – лучшая баба.

Советские бабы – самые лучшие в мире бабы.

Советское – значит, отличное.

Бабы – во! Бабы – ну и ну!

– Ну и ну! – говорили в зале. – Здорово! Bravo! Бабы!

Актёр, популярный в народе, комик Савелий Крамаров, стоя на заднем плане, за кулисами, но с расчётом, несомненным, лукавым, так, что его прекраснейшим образом, отовсюду, видели зрители, без устали, как заведённый, строил смешные рожи, пустым ведёрком помахивал и салютовал Вознесенскому своими длинными удочками.

Довольный поэт откланялся и степенно покинул сцену.

Дима Борисов был очень доволен. Всякого здесь он, бывавший редко на подобных мероприятиях, а может, что вероятно, сроду на них не бывавший ранее, насмотрелся.

Весело, с пользой, с толком, (ежели помнить о юморе, красной нитью прошедшем сквозь весь абсурдный отчасти, отчасти же стандартный, времён хрущёвских, и покоренья космоса, и ожиданья светлого будущего, для всех, через двадцать

каких-то лет, рядовой советский концерт, плановый, наверняка, для москвичей и гостей, вроде меня, столицы, для галочки в чьём-то отчёте, для подъёма духа сограждан, в январе, морозном и снежном, для того, чтобы людям поднять настроение, без алкоголя, чтоб отвлечь их от быта, что ли, чтобы праздником зимним повеяло во дворце культуры и даже там, за дверью дубовой, на улице, где хрустел снежок под ногами, завихрялся у фонарей, уносился к высоким звёздам и куда-то ещё, подальше, до весны), провёл вечерок.

И потом, через годы, ставшие непростыми для нас обоих, иногда он, под настроение, вспоминал, бывало, и Крамарова, с его ведёрком и удочками, и огромный успех имевшего у публики Вознесенского, с его сибирскими бабами.

Вскоре я вновь уехал на родину, в Кривой Рог.

А возвратился в Москву – через полгода, летом, поступать в университет.

Коля Мишин, герой натуральный уникального нашего времени, развесёлый, сметливый парень, будущий храбрый смогист и человек-театр, лично знакомый с Феллини, прислал мне весьма таинственную, озадачившую начальство отделения местного связи, милицию криворожскую, чиновников из горкома, а также райкома партии, передовых оглоедов из горкома, а также райкома комсомола, и, в завершение эпопеи почтовой, смущённую, растерянную почтальоншу, фантастическую, не иначе, из Лема или из Свифта вряд ли, но очень мишинскую, без аналогов, телеграмму: «Приземляюсь куполами соборов ленинские горы», вслед за которой пришло выдержанное отчасти в таком же духе, но более внятное и обстоятельное письмо, в котором Лукьяныч, он же Коля Мишин, поэт, на заре своей бурной жизни, излагал мне свою идею реального поступления в МГУ, на искусствоведческое отделение исторического факультета, по той причине, что там иностранный язык на вступительных, всех страшущих, экзаменах, не сдают, и предлагал мне всерьёз вместе с ним поступать туда, поскольку все остальные экзамены, сколько бы их ни было, мы с ним без всякого сомнения одолеем.

И внял я его призывам, и приехал в Москву, поступать на заманчивое отделение, и, сдав на ура, на отлично, все экзамены, был зачислен, принят в университет, становился уже студентом столичным, почти москвичом, и лето, с пылом

и с жаром своим, к завершению шло, и впереди у меня была моя новая осень.

Но до осени в жарком, с нервами напряжёнными, с тревожностями неминуемыми, да и с прочим, длинным перечнем не желающим оставаться надолго в памяти, многозначном столичном августе, когда я сдавал экзамены в самый лучший университет, как считал я, и все вокруг так считали, и это правда, потому что всё так и было, надо было ещё дожить.

И тут опять в моей жизни появился поэт Вознесенский, но только не сам он, лично, весь, как есть, а его книга.

Обувь моя изнасилась. По этой причине мне надо было купить себе туфли. Для этого мама заранее выдала мне деньги – впереди ведь была осень!

Встретился я с Колей Мишиным в центре. Намеревался вместе с ним зайти в магазин и выбрать, если удастся найти что-нибудь подходящее, ежели мне повезёт, простую, недорогую, удобную, прочную обувь.

Коля, думал я, человек сноровистый и практичный, в отличие от меня, и в такой непростой ситуации, как покупка надёжной обуви, тем более, выбор её заведомо невелик, несмотря на избыток всяческих, огромных, просто больших и совсем незаметных, крохотных, скромных, простых магазинов, но таких, что стоят всех, оптом, остальных магазинов столичных, может быть очень полезен.

Однако туфли тогда так я и не купил.

Практичный, полный решимости помочь мне в походе за обувью и выборе таковой, если найдём, конечно, где-нибудь её, Коля Мишин вдруг замедлил свой быстрый шаг возле книжного магазина, как говорили обычно москвичи меж собою, сотога, большого, на улице Горького.

В двери этого магазина с улицы устремлялась непрерывная череда взбудораженных чем-то граждан, а обратно из двери на улицу с довольным видом просачивалась другая совсем череда, причём, что бросалось в глаза, в руке буквально у каждого из вырвавшихся на волю из толкотни людской, распаренных, но довольных победой одержанной, граждан, приводящих себя в порядок и вдыхающих с удовольствием относительно свежий воздух на столичных стогнах, была новёхонькая, как игрушечка, в упаковке занятой, то есть в броской суперобложке, даже на расстоянии пахнущая типографскими

неповторимыми запахами, не толстенная и не маленькая, а такая, как надо, компактная, удобная, плотная книга.

Мишин сделал боксёрскую стойку и сказал:

– Это антимирь!

– Какие ещё антимирь? – удивился я. – Где? Откуда?

– Новая книга! Новая! Вознесенского! Новая книга! Понимаешь? – воскликнул Мишин. – Видишь, она уже вышла. Покупают её сейчас. Называется – «Антимирь».

Я спросил его:

– Ну и что?

– Как это – что? – возмутился, вовсю заводясь, Мишин. – Я знаю: это судьба!

– Странно ты, Коля, ведёшь себя! – сказал я ему озадаченно.

– Ничего тут странного нет, Володя! – воскликнул Мишин. – Наоборот. Всё нормально. Всё идёт сегодня, как надо. Всё так и должно было быть.

Пришлось развести руками:

– Ничего я не понимаю!

– Скоро поймёшь, – сказал Мишин. – «Антимирь»!

Пришлось потребовать мне:

– Выражайся яснее, Коля!

– Выражаюсь. Куда уж яснее! – сказал поспокойнее Мишин. – Слушай меня. У тебя сейчас деньги на туфли есть? Есть. Давай их сюда.

Я спросил резонно:

– Зачем?

– Скоро узнаешь сам. Не волнуйся, все будут целы. Ещё и прибыль для нас обязательно образуется! Давай поскорее деньги!

Я достал из кармана отложенные на туфли тридцать рублей. Отдал их Коле Мишину.

– А теперь пойдём-ка со мной! – сказал повелительно Мишин.

Бок о бок с ним, превратившимся в настоящий таран, я втиснулся в едва различимый просвет меж чередой выходящих на улицу из магазина и чередой входящих с улицы в магазин возбуждённых, взъерошенных граждан.

В магазине Мишин спокойно, как ни в чём не бывало, плавно, высоко приподнявшись в воздух и сжимая крепко при этом в кулаке мои тридцать рублей, описал в тесноватом

пространстве, в положении вертикальном, а никак не горизонтальном, эффектнейшую дугу – и оказался уже не там, где только что был, но почему-то вдаль, впереди, самым первым у кассы, в которую все платили деньги, взамен получая узкие серые чеки, для получения книг желанных, в одном из отделов, и куда терпеливо стоял длиннющий, петлистый хвост граждан, жаждущих страстно книгу приобрести.

Приземлившись у кассы, Мишин отодвинул небрежно локтем толпящихся рядом граждан, почему-то, вот уж загадка, и не думавших возмущаться и безропотно, даже охотно, позволивших человеку, прилетевшему сверху откуда-то, возможно, из Антимиров, а может, из облаков, или по спецзаданию какому-то, кто его знает, кто его там разберёт, если сверху – так значит сверху, и никак не снизу, как прочие, значит, можно, разрешено, есть приказ и печать, одобрено, всё в порядке, зелёная улица, постовые под козырёк, часовые в ружьё, командирам честь отдать, прилетел человек, свой, советский, чай не с луны он свалился, ведь сам приземлился, прибыл, слава героям, ура, молодым – им везде дорога, и тем более здесь, в магазине, – встать впереди всех.

– Девушка, – обратился Мишин к усталой кассирше. – Сколько стоят «Антимиры»?

Та ответила:

– Сорок копеек.

– На все! – протянул ей Мишин мои, для покупки обуви осенней, тридцать рублей.

– Зачем так много? – услышав такое от человека, прилетевшего к магазинной кассе, возможно, с небес, а может быть, и со звёзд, без всякого звездолёта, без всякого самолёта, да ещё и без парашюта, как говорится, своим ходом, или полётом, не знаешь ведь, как и сказать, что вообще говорить, увидев такое чудо, как летающий Коля Мишин, в столице, среди бела дня, напротив себя, да вот он, потрогать можно, живой, настоящий, вовсе не сон, не бред совсем и не призрак никакой, удивилась кассирша.

– Полярники заказали! – веско, твёрдо, с достоинством, солидно, как подобает необычному человеку, гражданину подлунного мира, а не только советской страны, гражданину целой вселенной, коль на то уж пошло, пояснил, в роль войдя окончательно, Мишин. – Дрейфуют они во льдах. Скучно там до невозможности. Все книги в библиотеке давно уже перечитали.

С большой землёй постоянную связь далеко не всегда, только изредка, по расписанию, по часам, поддерживать можно. Голод у наших людей, книжный. Новинки требуют. А я вот как раз в Москве, ненадолго, в командировке. Прямо с Новой Земли, представляете, с холодного, снежного острова. Вначале пешком, потом на собаках, потом на оленях, а потом тремя самолётами к вам сюда добирался. Смотрю – а у вас, пожалуйста, вот они, «Антимиры». Ну, думаю, надо порадовать верных своих товарищей на севере, грустно им там, пусть почитают свежатинку, душой отойдут в снегах, сердца согреют замёрзшие новым русским печатным словом. Вот и беру. На все!

– Понятно! – сказала кассирша. – Привет советским полярникам! – и выбила нужный чек.

Мишин, взяв чек, опять плавно взлетел на воздух, спланировал у прилавка и там, не взглянув и вполглаза на очередь, получил на руки невероятное, можно сказать, несметное количество экземпляров свежих «Антимиров».

– Как мы тащить их будем? – озадаченно, толком ещё ничегошеньки не понимая, спросил я лучшего друга, Николая Лукьяныча Мишина. – И зачем же нам столько этого, как сказать бы помягче, добра?

– Дотащим, – сказал мне Мишин. – А добро это скоро нам, ты увидишь сам, пригодится.

Он, как фокусник, помахал, влево, вправо, рукой – и вытащил, даже не нагибаясь, откуда-то из-под прилавка широкий моток бечёвки, не просто быстро, но как-то, сказал бы я, молниеносно, проявив при этом умение вовсе не дилетантское, умение удивительное, профессиональное, высшего класса, или разряда, или ранга, поди догадайся, где учился он, обмотал этой бечёвкой книги, разделив их на несколько стопок.

Загрузил меня этими стопками.

А потом и сам загрузился.

Со своей тяжёлою ношей мы выбрались из магазина на шумную улицу Горького.

– Идём! – сказал Коля Мишин. – За мной, Володя! Вперёд!

– Куда? – спросил я, выглядывая из-за стопок новеньких книг, которые надо мне было умудриться каким-то образом, ни одной из них не роняя по пути, на весу удерживать.

– Скоро узнаешь! – сказал мне, кивнув дружелюбно, Мишин.

И он, человек летающий, но иногда и шагающий по родимой земле советской, лихо помаршировал напрямик вверх

по улице Горького, и я – вслед за ним зашагал, держа на весу здоровенную, с головой меня чуть ли не скрывшую, отдавившую плечи гору закупленных Мишиным книг.

Остановился Мишин возле кафе «Молодёжное».

И сказал мне кратко:

– Заходим!

Я сказал:

– Ведь у нас нет денег!

Мишин сказал, как отрезал:

– Ничего. Всё сейчас образуется.

Мы зашли с ним вдвоём в кафе.

Поскольку был день, а не вечер, то посетителей там оказалось ничтожно мало.

Мишин сразу же занял столик у большого окна, выходящего прямо на улицу Горького.

– Девушка, – обратился он к подошедшей официантке, – нам два пунша и два кофе.

Сухопарая официантка, покосившись на книги, которые притащили сюда мы с собою, принесла нам Колин заказ.

Мы с Мишиным стали потягивать пунш через соломинки.

Стопки «Антимиров», закупленных оптом, лежали на полу, рядом с нашим столиком, внушительной, пахнущей острой, спиртовой типографской краской, неподвижной, пока что, грудой.

Мишин спокойно взял одну, всего-навсего, книжку и поставил её на широкий подоконник, плотней прислонив к стеклу оконному, так, чтобы обложка с улицы сразу была заметна.

Через десяток секунд к нам подбежал, запыхавшись, в кафе ворвавшийся с улицы взмыленный гражданин средних советских лет.

И с ходу спросил:

– Ребята, где брали «Антимиры»?

Коля ему ответил задумчиво и протяжно:

– Там, где брали, больше их нет!

Гражданин покосился на груды книг возле нашего столика.

И робко спросил:

– А вы, ребята, не продадите?

Мишин сказал:

– Посмотрим!

И лукаво сощурил глаза.

Гражданин помялся и тихо шепнул ему:

– Мне одну!

Мишин сказал:

– Всего-то? Можем, пожалуй, продать!

– Сколько? – быстро спросил гражданин.

– Рупь! – ответил немедленно Мишин.

Гражданин, благодарно глядя на спокойного Колю Мишина, возликовал:

– Беру!

Он положил свой рубль на столик, жадно схватил выданную ему Колей Мишиным свежую книгу и, прижимая её к груди, вне себя от счастья, выбежал из кафе.

В это время за нашими спинами раздался неровный гул.

Я оглянулся. Это монотонно и нервно гудела вроде бы небольшая, но, мгновение за мгновением, разрастающаяся толпа.

Из неё раздались вопросы:

– Где купили?

– Когда купили?

– Лишней книжки у вас не найдётся?

– Экземплярчик не продадите?

Коля намётанным глазом посмотрел на толпу, которую лихорадило от возбуждения, потом на «Антимиры», потом отсчитал десяток экземпляров и отложил их в сторонку, поближе к себе, подальше от остальных.

На все прочие экземпляры указал он толпе взбудораженной и сказал очень строго и твёрдо:

– По рублю. Братва, налетай!

Через минуту груды «Антимиров» не было.

Вместо неё на столике перед нами лежала стопка слегка измятых рублей.

В сторонке скромно лежали отложенные заранее рассудительным Колей Мишиным десять, всего, экземпляров книги, остаток недавнего буйного изобилия.

Но тут за нашими спинами образовалось некое завихрение, и подлетел к нам интеллигентного вида юноша, хилый, в очках.

– Не продадите? – спросил он, показывая на стоящую на подоконнике книжку.

Мишин сказал:

– Пятёрка!

Юноша вынул пятёрку, положил аккуратно на столик, обнял книжку и удалился.

Мишин спокойно, с видом счетовода или бухгалтера, но, вместе с тем, и тщательно, трижды пересчитал деньги, образовавшиеся буквально из ничего, если и не из воздуха, то уж точно из антимиров, из книг, им закупленных впрок, из его фантастических действий.

– Всё, Володя! – сказал он мне весело. – Жить можно. И даже нужно. Вот, возвращаю тебе твои тридцать рублей, на туфли. На всё остальное – сегодня не грех нам и погулять!

И мы посидели с Мишиным в кафе. А потом куда-то дальше переместились в пространстве, всем нам распахнутом в ту пору, когда мы были так молоды, что не думали, – ещё не успели просто как следует поразмыслить, ещё не хотели, видимо, заранее огорчаться, ещё не умели, может быть, предвидеть всё то, что будет со всеми нами в грядущем, зовущем и жертвы ждущем, – о времени, сквозь которое пройти нам придётся вскоре, чтоб слышать в небесном хоре то реквием, то величание, чтоб встречу сменяло прощание, а прощание новую встречу вызывало из яви, замечу, не совсем реальной, с астральным, жалящим исподволь, отсветом, с мистическим ясным отзвуком, с призывком смутным боли, с присутствием доли и воли в мире, где всё же есть о благодати весть.

С антимирами, в книжном варианте их, в виде груды свежеизданных книг, закупленных и розданных множеству жаждущих приобщиться как можно скорее к стихотворному, наиновейшему печатному русскому слову, небезвозмездно, конечно, человеком сметливым, практичным, летающим, ежели этого требуют обстоятельства, и всегда, заметьте, всегда приземляющимся, вопреки всем преградам и мелким частностям нашей, скучной весьма, повседневности, именно там, где надо, в нужный год, в нужный час, в нужный миг, всемогущим, в жанре своём, театральном, с игрой блестящей, с режиссурой, всегда новаторской, скромным жителем городка подмосковного, тихого Климовска, в недалёком прошлом учащимся ремесленного училища, ныне абитуриентом, поступающим в МГУ, поэтом, смогистом будущим, потрясающим всю Москву приключениями своими, фантастическим Колей Мишиным, наконец-то расстались мы так быстро, как это бывает, наверное, только в сказке, если сказку такую придумает не кто-нибудь

там посторонний, но лишь один человек на свете, конкретно – Мишин.

Десяток оставшихся книг нести было проще, нежели здоровенную – прежнюю – груду.

Книги я разделил пополам.

Пять штук отдал Коле Мишину.

Пять своих – положил в сумку.

И шли мы куда-то вперёд с другом Колей, вначале под солнышком, августовским, горячим, потом при свете горящих на каждом шагу огней, в центре столицы, вдвоём, ни секунды не сомневаясь в том, что в университет мы поступим с ним обязательно.

Свежеизданные четыре экземпляра «Антимиров» я отправил вскоре по почте бандеролями, вместе с письмами криво-рожским своим друзьям.

Один экземпляр – оставил себе. Он потом потерялся.

Но история с Вознесенским, не человеком, а книгой, на этом не завершается.

На вступительных, непростых, с напряжением нервным, экзаменах Коля Мишин, с загадочным видом, будто делал он, от щедрот своих, величайшее одолжение, дарил всем экзаменаторам, по очереди, разумно, без ненужного перебора, по экземпляру свеженьких, новёхоньких «Антимиров».

И все – брали их. С удовольствием.

И Мишину, человеку общительному, обаятельному, с достоинствами своими, перечень коих велик, но, если честно, не очень-то подкованному в науках, делали, может, на радостях, оттого, что стали нежданно, как-то вдруг, ни с того ни с сего, на рабочих местах своих, обладателями свежайшей, не достать ведь нигде, новой книги знаменитейшего поэта, откровенные, от души, как-то мягко, по-свойски, по-блажки.

И это ему помогло сдать экзамены благополучно и поступить в МГУ.

И я поступил, без всяких даров и чьих-то поблажек. Просто – все экзамены сдал, как и следовало, на отлично.

И нас обоих – зачислили.

Был, правда, один казус.

Так себе, незначительный, в общем-то. Но – характерный.

Когда был вывешен список зачисленных на отделение наше, искусствоведческое, мою фамилию в нём увидели мы немедленно. Была она в списке – первой.

А вот фамилии Мишина поначалу там вовсе не было.

В списке, из тридцати фамилий, по алфавиту, почему-то значилось: Мишман Николай Лукьянович. Бред!

То есть имя и отчество в списке, без сомнения, были Колины, а фамилию вот – подменили.

Во мгновение ока Мишин, возмущённый явной нелепостью, восстановил справедливость.

Потому что чёрным по белому напечатано в списке – читаем – Николай Лукьянович – кто это? Это он. Это Мишин. Мишин! Поступивший в университет.

А не какой-то там ненужный, неведомый Мишман.

Сотрудницы кафедры, сплошь растерянные, смущённые, тут же, прямо при Мишине, оплошность свою исправили.

Заработались. Утомились.

Опечатка – случайно – вышла.

Ничего. Всё теперь в порядке.

Всё отныне в полном порядке.

Волноваться больше не надо.

Поступил – действительно Мишин.

Никакого такого Мишмана больше нет. Это был фантом.

Есть в реальности, есть и в списке – вот, пожалуйста, – только Мишин!

И Коля тогда, на радостях, подарил сотрудницам кафедры искусствоведения, одну – на всех, от щедрот своих, пусть по очереди читают! – последнюю, остававшуюся в его, личной, мишинской, собственности, книгу, слегка потёртую, затаканную, Вознесенского.

И долго потом стоял у списка сдавших экзамены и зачисленных в МГУ, любясь в нём на свою, правильную, фамилию.

Мишман – это из антимиров.

В мире нашем – есть только Мишин!..

А с Вознесенским не стал я больше видаться. Так уж решил я.

Не было в этом смысла.

Человек он, так я считаю, талантливый, даже очень.

Но – я это всегда говорю – смотря как распорядится человек талантом своим.

Эх, если бы не его пижонство неистребимое, да ещё кое-что, не очень-то приятное! – продолжать, при желании, можно, конечно, и мне, и другим, – да зачем?

Не статью ведь о нём пишу сейчас.

Пусть кумекают и гадают, поскольку так им положено, по их это части, вроде бы, литературоведы.

Летом, когда поступал в МГУ, и в начале осени – несколько раз позвонил я, всё-таки, Вознесенскому.

Он сказал мне тогда:

– В МГУ, к вам, Володя, на искусствоведение, поступил Кублановский, Юра. Талантливый парень. Из Рыбинска. Он в вашей, конечно, группе. Я помог ему. Обратился к Фёдорову-Давыдову, чтобы Юре он посодействовал, – мы как раз с ним в одном самолёте из-за границы летели. Юра очень меня просил помочь ему с поступлением. Я и помог. Познакомьтесь с ним обязательно. Может, подружитесь.

Разговор этот был, когда нас ещё только зачислили.

Я нашёл Кублановского. Юру.

Легко познакомился с ним.

Юра с ходу сказал мне, что он в МГУ поступил сам, полагаясь лишь на себя, на силы свои и знания. Вознесенский, мол, предлагал ему помощь свою, но Юра отказался. И вот – поступил.

Когда с первой ложью столкнёшься, толком ещё и не знаешь, что это именно ложь.

Ну, подумал я, это, наверное, Вознесенский для форсу загнул. Чтобы знали: он кое-что может. А вот Юра – какой молодец, отказался от помощи. Сам, без протекции, поступил.

На исходе восьмидесятых, когда журнал «Огонёк» был на гребне своей популярности, увидел я там короткое предисловие Вознесенского, врезку так называемую, к подборке стихов гонимого в минувшие годы властями советскими, за его незыблемые убеждения и деятельность диссидентскую, отбывшего в эмиграцию, а теперь, когда всё изменилось к лучшему в нашей стране, возвращающегося на родину, и своими стихами, и собственной, патриотичной персоной, моего сокурсника бывшего и соратника даже, по СМОГУ, Кублановского, – там говорилось напрямую, что было дело, в своё время помог он Кубу поступить в МГУ, а ещё говорилось, что мать Кублановского, работавшая не где-нибудь, а в горькоме

партии Рыбинском, писала Андрею Андреевичу гневные, жёсткие письма, требуя ультимативно не сбивать её сына юного с истинного пути.

В конце девяностых, в книге Вознесенского, мемуарной, «На виртуальном ветру», прочитал я снова о том, что помог он в шестидесятых поступить Кублановскому Юре, поэту, в московский вуз, только память, увы, подвела слегка постаревшего мэтра, многожды лауреата всяческих литературных премий, земных, в основном, но, может, в числе их были и другие, из антимиров, многожды академика всяческих академий, и он МГУ перепутал с институтом педагогическим. Ничего, бывает. Исправим оговорку эту невольную.

Это Юдахин Саша учился в педагогическом. С помощью ли какой-то, без таковой ли вовсе, но учился, и благополучно окончил свой институт.

Аберрация памяти, так иногда сейчас говорят.

И всё-таки пробудился юмор у Вознесенского – и обозвал он, в лоб, не удержавшись, видимо, героя из диссидентов и страдальца из стихотворцев, эмигранта и патриота, Юру, по прозвищу Куб – а знатоки утверждают, что есть у него в Москве и совсем другие кликухи, кроме всем известной, «Кубло», в тех кругах, где вращается он, всё вращается, крутится, вертится, превратившийся в функционера заурядного, вроде советских, ненавидимых им когда-то, но не лучше их ни на йоту, а ещё и похуже, что делать, сам назвался груздем и сам лез и лез в пресловутый кузов, или, может, ещё куда, не в звериное ли кубло, ну, тогда поминай как звали, там любому не до стихов, там свои порядки и правила, что-то всем там ума поубавило, если был вообще этот ум у кого-нибудь из какбывременной кодлы, стаи, банды, команды, не говоря уж о всяких дарованиях и талантах, – матёрым, ни больше, ни меньше, вот слово действительно точное, прорвавшееся сквозь хаос нынешний, литератором.

Вот уж, как говорят в народе, не в бровь, а в глаз.

Сказал, точно припечатал.

Или так ещё: пропечатал.

Так проще. Резче. Доходчивее.

Лаконично, всего в два слова.

И образно, надо заметить.

С присущим ему, Вознесенскому, тяготением к парадоксам и негаданным обобщениям.

Иногда я видел его, Вознесенского, знаменитого и прославленного во всех странах шара земного, поэта, в ПЕН-клубе, куда, при случае, изредка, потому что живу в основном в Коктебеле и в Москве бываю зимой, да и то не всегда, заглядываю, – например, на собрание общее, на которое всех зовут, или на вечер, похоже, ставший традиционным, предновогодний, домашний почти, в основном для своих.

Он сидит, неподвижный, седой, постаревший очень, обрюзгший.

На губах его то ли улыбка, то ли так, непонятно что.

Молчит. Никого, ничего вокруг – не видит, не слышит.

Я с ним разок поздоровался – не слышит. Ну и не надо.

Во времена СМОГа по нему проходились охотно всяческие удалые смогисты, в своих доморощенных лозунгах и манифестах.

Может, с тех пор затаил он какие-нибудь обиды в душе, на кого – неизвестно? И таит их доселе? Не знаю.

Никаких манифестов и лозунгов я лично не сочинял.

И его никогда не клеймил.

Зачем?

Кублановский – тот в прежние годы крыл его, с удовольствием явным, неизменным, в нашей компании, а сам – потихоньку ходил к нему, годами, общался с ним, и там, полагаю, совсем другое поэту пел.

Каждому, вот уж действительно, в жизни, где всё относительно, кроме совести человеческой, кроме чести, и правды, и грусти, и радости, и поэзии, и любви, и надежды, и веры, и всего вообще, из чего состоит эта жизнь, – своё.

Но деятельность неприличная некоторых смогистских псевдогероев-общественников, полагаю, наверняка его когда-то задела.

Может, с тех самых пор и отключился он от всего, что ему, поэту, существовать мешает?

Нет, конечно же! – знатоки тут же встрянут. Но – кто его знает!

Человек весь в себе. Он теперь генерал. Он давно генерал. Даже больше. Давно уже – маршал.

Он везде. Там, где премии нынешние раздают (по жребью, что ли?). На тусовках. На презентациях.

Иногда стихи его вижу я, новые, междувременные, их обычно на целую полосу дают, от щедрот газетных, а то

и на разворот, с размахом, в том самом «Московском комсомольце», где работал так долго Аронов, автор песни неувядаемой «Иметь или не иметь», где работал, вроде бы, точно я не помню, Мнацаканян, друг поэта покойного Шлёнского, автора строчки, похожей на деталь из вечного двигателя, «колёса, колёса, колёса», потому что работать следует всем и каждому в мире этом, и колёса зримые вертятся, с ними вертятся и незримые, вместе с битовским «Колесом», вместе с гоголевским, известным всем на свете, из «Мёртвых душ», вместе с давним ещё, платоновским, паровозным, деповским, едущим к Чевенгуру и в котлован, и с троллейбусным, окуджавским, по Москве сквозь рассвет плывущим, и с любимым, вообще, колесом, если звук его невесом, словно призрак или фантом, если образ его, на потом, укатиться стремится в даль, где ищи-свищи, вот печаль, человека, днём, с фонарём, даже с лучшим поводырём, уводящим вас в небеса, – нет покоя без колеса, нет покоя и с колесом, кроет ночь козырным тузом всех, кто исподволь шестерят, и костры вдалеке горят – там, наверно, колёса жгут, там вершат, видно, Страшный суд, там готовят страшную месть, взяв из Гоголя эту весть, позаимствовав сто колёс, чтоб решить им большой вопрос: есть ли жизнь на Марсе? – увы, вся она – посреди Москвы.

Постоянно видел его, Вознесенского, по телевизору. Как включишь – так Вознесенский. Молчит. Смотрит в дальнюю точку. Седой. Одного только Битова, пожалуй, из всех литераторов, так же часто людям показывали. Потому-то и получается у них, героев экрана, по-ударному, не по-стахановски, да куда там, бери повыше, в космических, по масштабности, виртуальных, по необходимости, визуальных, самых удобных, по доходчивости всегдашней, при приемлемости, зрочком человеческим, нужных ритмах, работа на пересменку. Включишь ящик разок, наобум, – пожалуйста, вон он, Битов, сидит, как седой азиат, с караваном своим по Великому шёлковому пути прошедший от Петербурга до Бухары и обратно в Петербург, с заездом в Москву или с выездом за границу, в неизвестные нам, землянам, россиянам нынешним, бывшим просто русскими в годы былые, благодатные, дивные страны, глядит в объектив телекамеры, заглядывая в Зазеркалье, о чём-то мудрёном, таком, в чём сам заплутать способен без нити спасительной, вовремя протянутой Ариадной, его теперешней Музой, заступницей верной, вещает, – включишь ещё

разок – вот он стоит, Вознесенский, в шарфике, сложенном кукишем, улыбается и молчит, потом – вещающий Битов, следом за ним – Вознесенский молчащий, друг дружку сменяют, друг за другом исправно мелькают. А иногда их и вместе показывают. Бывает. Важные птицы, право! Генералы. А может, и маршалы.

И матёрому литератору, новоявленному, Кублановскому, – ох как до них далеко!..

Однажды, в том же ПЕН-клубе, в центре Москвы, сижу я на встрече предновогодней ПЕН-клубовцев – и скучаю.

Я не пью. Все вокруг – пьют и давятся бутербродами, на хляву.

Рядом со мной сидит разжиревший, с мешками лиловыми под глазами, с носом разбухшим, хулиганами подмосковными когда-то сдвинутым набок и не слишком удачно выпрямленным, с животом восточного хана, с изуверской улыбочкой хама, с бутербродными липкими крошками на покато плече эгоиста, карьериста, (в прошлом – смогиста, как ни странно), с бутылкой вина, со стола по привычке прихваченной, под мышкой, с полным стаканом в правой руке, а в левой – с недоеденным, по причине болтовни своей, бутербродом, в пиджаке заграничном, в штанах заграничных, в ботинках фирменных, с бородёнкой седой, Кублановский.

Рядом с ним – элегантная Зоя Богуславская, всем известная писательница, супруга вернейшая Вознесенского.

За нею – сам Вознесенский.

Куб, к дармовому питью основательно приложившийся, с Богуславской, воспитанной, вежливой, оживлённо, как в баре пивном посреди бесчатья, болтает, никого вокруг не стесняясь, не стесняясь меня совершенно, при мне поливая грязью нашего друга общего, чудесного Диму Борису, называя его, человека достойнейшего, светлейшего, представьте себе, раздолбаем, (словцо это я смягчил, Куб выражался – матерно).

Богуславская слушает Куба, вроде бы, очень внимательно.

Я смотрю на Куба не просто с возмущением, но и с ужасом, и толкаю локтем его в бок: что ты мелешь, мол, праведник липовый, жуткий страдалец, согласно твоей мифологии, и в своём ли ты нынче уме, и не стыдно ли, боров жирный, эмигрант, возвращенец, начальник, солженицынский прихвостень старый, интриган и завистник, тебе? – а литератор матёрый,

заматеревший так, что обомшел окончательно, корнями корявыми врос в подмосковную почву скудную, переделкинскую, лесную, литераторскую, махровую, как говорится в народе пронизательном, ноль внимания, и всё продолжает что-то неприличное, непотребное, не обращая, конечно, на меня никакого внимания, слушая только себя, любимого, заливать.

Вознесенский сидит, с неподвижным лицом, с улыбочкой вынужденной, неизвестно кому адресованной, в метре всего от меня.

И не видит меня. Вообще никого из людей вокруг, ничошеньки просто, не видит.

Лишь присутствует. Или – отсутствует.

Где – неведомо. Весь в себе.

Я не вижу его, Вознесенского, рядом с ним давно находясь.

Куб не видит его, а видит почему-то лишь Богуславскую. Вознесенский не видит Куба.

Вокруг спешат поскорее да побольше, само собою, выпить и закусить гуляющие за счёт столичного заведения перед Новым годом, ПЕН-клубовцы.

Антимиры. Похоже.

Боже, ну и картина!

В углу, стыдливо задвинутый подальше от глаз нехороших, смотрит на дикое сборище властителей дум человеческих Андрей Платонов, изваянный из дерева другом его, покойным Федотом Сучковым, и подаренный кем-то ПЕН-клубу.

Генрих Сапгир, тогда живой ещё, под хмельком, вспоминает что-то своё, из старого, из псалмов, про сборище нечестивых.

Бесенятами, глупо хихикая, с ужимками обезьяньими, влезают с улицы в комнату и бросаются с ходу к столу халявному вроде бы модные нынче поэты, Лёва Рубинштейн, с авангардным, наверное, меланхоличным носом, глядящим на запад, в соплях, и Тимур Кибиров, фамилия которого, настоящая, как сказали мне люди, знающие, что почём, кто есть кто, на деле, без каких-то там псевдонимов или мифов, просто Запоев, с улыбочкой, маслом смазанной, напоказ, любителя жареного, подпрыгивая на месте, взлетая вверх, кувыркаясь в прокуренном воздухе комнаты, друг дружку игриво хлопая, на лету, на ходу, по задницам.

Где ты, Миша Деза, со своим восклицанием, всех шокировавшем когда-то, по этому поводу, обращённым к пьяному вусмерть дружку твоему загадычному, кудрявенькому Аронову?

Сквозняком вдувает сюда работного беса Пригова, состоящего в основном из оскаленного однажды, для пробы, для новой эстетики, да так навсегда и застывшего в оскале этом, привычном и удобном, наверное, черепа.

Игорь Сергеевич Холин, тоже ещё живой в ту пору, седой, прямой, сидит по другую сторону от меня, подмечая штрихи и детали всеобщего бреда, молчит, очками сверкая, и всё про себя констатирует.

Кублановский всё распинается, неизвестно зачем, перед слушальницей терпеливой его, Богуславской.

Вознесенский сидит и молчит.

Я встаю. Ухожу отсюда.

Ну и жизнь на московских холмах!

Третий Рим! Имитация встреч, вечеров, тусовок, бесед, общих и частных собраний.

Босх. Булгаков. Гоголь. Щедрин.

Сон? А может быть, наважденье?

Вознесенский за Кублановским, Кублановский за Вознесенским в Переделкино улетают.

Надо же – Пастернак весь пейзаж там давно уже выпил, как заметил с горечью Битов.

Что осталось там для Кублановского?

Вознесенский – тот весь в себе.

Вещь в себе. Или – весть в себе.

(Страсть, и власть, и напасть – в себе?)

Куб страдает, психует, бедняга:

опоздал, не дорвался до блага!

Что удержит от ложного шага?

Только речь. Только верность судьбе.

п. Коктебель